Горчаков Генрих

15.2.94

Времена

Сегодня. – 1994 – 15 февр. – с. 9.

Блок 6 № 29 Вторник, 15 февраля, 1994

Евгений Бень

Своею колеей

Он писал в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые. И в последнее десятилетие продолжает заниматься литературным трудом. Жизненные представления, общественные и литературные воззрения Генриха Горчакова никогда не совпадали с веяниями текущего десятилетия. Мог ли быть внутри шестидесятничества с его романтическим мифом о социализме, очищенном от сталинской деспотии, с его авангардистскими стихами у памятника Маяковскому – он, в 1940–1950-е на семнадцать лет выключенный из московской жизни тюрьмами, каторгой и ссылками? И семидесятничество с его надломленным религиозным декадансом было Горчакову, человеку с трезвым и искушенным испытаниями взглядом, достаточно чуждо. Восьмидесятые, обрушившие вконец обветшалый строй и вернувшие массу годами несправедливо замалчиваемых имен, воспринимались Горчаковым как давно ожидаемая данность. И «девятидесятники» с их подчас бескомпромиссно-яростным неприятием слишком многих атрибутов прошлого вовсе не всегда находят понимание у автора публикуемых сегодня воспоминаний.

Может быть, Горчакова, упорно остающегося верным собственным интерпретациям общества, истории, поэзии (главного предмета его интересов), уместно метафорически сопоставить с айсбергом в бурно текущей реке времени.

Он неизменно остается верен своей системе координат, своей логике, позволяющей ему иной раз совершать точные предсказания. Примерно в 1980 году в разговоре со мной он сказал о том, что в числе итогов социализма в России будет и кастрюля за 500 рублей, которую люди, почесав в затылке, пойдут покупать (куда денешься?). Тогда было трудно представить себе, что за этими мимоходом брошенными словами, казавшимися просто парадоксальными, стоит предвидение теперешней ситуации.

Кажется, только одна сила властна над Генрихом Горчаковым — его «внутренняя тревога». Размышляя в неопубликованной работе о стихотворении Марины Цветаевой «Письмо», он обобщает: «Так ждут письма» — нет, она ждет писем, она и описывает не это, а вообще письмо каждое... «Так ждут конца» — она ждет не конца, а обратного — спасения. Возможности и дальше быть... Ждет она не ответа «да» — «нет», а чар. А чары для нее — в словах. Она любила называть себя словесницей. И не только потому, что она была мастером слова. В словах для нее заключались и чувства, и поступки, и весь человек». Так пишет Г. Горчаков, который по воле своей «внутренней тревоги» и сам всегда ждал «писем», ждал соучастного, сочувственного, проникновенного слова-отклика, ждал долгими десятилетиями первых публикаций своих эссе о поэтах и воспоминаний.

Он родился в 1919 году. В 1938 году его отец — член Московской коллегии адвокатов – был арестован и вскоре расстрелян. В том же году Генрих Горчаков поступал в Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ). Сдал экзамены на «отлично», но в приеме в институт ему отказали. Документов не забрал. В МИФЛИ зачислили без вступительных экзаменов в 1939 году, после многочисленных хождений по инстанциям. В начале войны, несмотря на «белый билет», добровольцем ушел на фронт. В 1942 году был демобилизован из армии по здоровью и поступил на 3-й курс Литературного института им. М. Горького. В связи с романом «Одиннадцатое сомнение», предложенным в качестве диплома, исключен из ВЛКСМ, из института, после чего 17 апреля 1944 года «случайно» арестован на улице. Его дело было объединено в одно со схваченным ранее студентом Литинститута Аркадием Белинковым, который спустя два десятилетия стал известным историком литературы, а впоследствии эмигрантом. Горчакова осудили Особым совещанием (заочно) по ст. 58, п. 10 (ч. II) и п. 11 на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Отбывал наказание полтора года на Лубянке и в Бутырках, в Мариинских лагерях в 1945–1949 годах, в Берлаге на Колыме в 1949–1951 годах, затем находился в ссылке. В Москву вернулся в 1960-м, но был реабилитирован только в 1963-м...

До конца 1980-х годов у него, пожалуй, не было даже и помыслов печататься в тогдашних условиях и тогдашних изданиях. Благодарными слушателями работ Горчакова стали молодые люди, в том числе те, кто когда-то учился у его жены, много лет преподававшей литературу в школе. Устные чтения устраивались как только завершались очередные эссе. Их основная черта — естественное сочетание художественного «полета» с историко-литературной точностью. Темы исследований были связаны с Пушкиным, Баратынским, Тютчевым, Блоком... Но одним из главных трудов Горчакова в 1960–1980-е годы было освоение истории души (как он сам определяет) Марины Цветаевой. Несколько его больших работ о Цветаевой теперь опубликованы за рубежом. В России появились фрагменты воспоминаний.

До середины 1980-х годов у Г. Горчакова не было возможности доставать зарубежные издания, необходимые для работы. Изо дня в день он переписывал в спецхране Ленинской библиотеки многочисленные книжки и публикации Цветаевой, от корки до корки воспроизводил тексты собрания очень близких ему стихотворений Софии Парнок («Ардис», 1979), собрания стихотворений Ходасевича (Мюнхен, 1961)... Дома переписанное от руки перепечатывалось, вычитывалось, перепле́талось и происходило как бы новое трудное рождение книги. В 1981 году Горчаковы подарили мне такое собрание стихов Ходасевича и тем самым во многом побудили меня вплотную заняться изучением творчества этого поэта.

Небольшая квартира Горчаковых собирала на домашние чтения иной раз и 30, и 40 человек. К этим встречам готовились не только хозяева, но и слушатели, которые заранее прочитывали и анализировали материалы, использованные в новой работе. Круг слушателей был самым разнообразным: литературоведы, журналисты, инженеры, математики, врачи, студенты; люди религиозного склада и люди совсем светские...

О своей работе над тюремными и лагерными воспоминаниями Г. Горчаков стал упоминать только лет шесть назад, хотя писал их с перерывами с начала 1960-х годов.

Один из ныне здравствующих писателей, познакомившись с ними, откликнулся: «...лагерная, но жизнь». Пожалуй, эти слова очень точно передают особенность взгляда мемуариста на сталинские «места не столь отдаленные». Он, в отличие от других бывших узников, рассказывает главным образом не о пытках, побегах и тому подобных событиях, а именно о повседневном течении суровой и изнуряющей лагерной жизни. О лагерных буднях.

Здесь приводится несколько фрагментов, собранных воедино и подготовленных автором специально для «Сегодня».

45 лет назад

Под прессом

Генрих Горчаков

Шла жизнь в открытой долине

Колуган лежал в открытой долине, вокруг много ровной земли. Леса давно повырублены, даже пней не осталось, а сопки отодвинулись далеко в сторону.

Зона лагеря обнимала большое пространство, так что внутри было где разгуляться. До места работы надо было идти под конвоем километра два-три. Снова звучала «молитва»: «Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Конвой применяет оружие без упреждения», снова летели в нас матюки, снова рвались на поводках крупношерстные друзья человека...

Было и новшество: пятерки должны идти, взявшись под руки, и не дай Бог, хоть на мгновение, нос почесать, высвободить руку — такого выдергивали в хвост колонны и бесшумно напускали пса; хорошо, если только разорвет фалду или рукав — иной раз до крови прокусит ногу или руку. Возвращается бедняга на свое место, и вся колонна видит, как ползет у него по руке ярко-красное пятно...

И так каждый день два раза. Туда и обратно.

Современным Данте, описывающим кошмары лагеря, как-то не приходит в голову, что весь ужас — не в эксцессах, что раз на тысячу выпадает, а вот в этих каждодневных ритуалах, касающихся поголовно всех.

Главным нашим производством был рудник №1, занимавший огромную территорию под общим оцеплением.

Меня из-за зрения в шахту не посылали, так что всю дорогу я работал на поверхности.

Надо сказать, что привычка — вторая натура — вызывала своеобразное разделение работяг. Мы, как черт ладана, боялись подземных выработок, их душной, отравленной атмосферы, нависающих над тобой сводов, постоянного мрака. Подземщики же не выдерживали наших морозов и ветров и, попадая к нам, через пару дней просились обратно.

Наша работа сводилась в основном к рытью всяческих канав на сопках. Причем механика трудовых процессов резко отличалась летом и зимой.

Летом жаркое солнце стапливало мерзлоту, и потоки уносили грунт. А наша задача — соскребать верхний оттаявший слой. Основную работу за нас делали солнце и вода. Одно плохо, что ноги всегда сырые, не успеваешь просохнуть, и хронический бронхит постоянно тебе досаждает...

Зимой же мы забуриваем лунки в мерзлоте, заряжаем аммонитом и взрываем. Разрыхленную породу выбрасываем лопатами. Все держится на наших мускулах, ибо наша техника — ручные забурники, кувалды, ломы, лопаты. И это двенадцать часов на морозе, на ветру, с куском мерзлого хлеба граммов триста на весь рабочий день...

...Лагерная жизнь никогда не сводится к единому знаменателю. Даже в одном и том же лагпункте на отрезке совсем небольшого времени — ну что такое шесть месяцев нашей обычной жизни! — судьба зека описывает крутые зигзаги: то бросает его на самое дно, превращая в забитое, голодное, униженное существо, которое к самому себе, наверное, испытывало бы презрение, если бы все чувства у него не были умертвлены, то поднимает, возвращая жизненные соки, дающие ему силу сопротивления и способность бороться за то единственное, за что он может здесь бороться, — за чувство собственного достоинства.

Все-таки вряд ли возможно описать один день жизни зека так, чтобы дохнуло всей правдой.

Нынешняя мемуарная литература о лагерях в большинстве своем страдает общим недостатком. Это литература о **случаях**, которые иллюстрируют лишь один мотив — мотив **ужасов**. Но ведь литература о случаях правомочна, когда она проявится на широком фоне. Во-первых, это фон общеизвестной жизни, во-вторых, это фон самой литературы о той же жизни. Но когда речь идет о совсем неизвестном, скажем, о жизни на Марсе, то тут нужна **история**. Любой же прецедент скорей будет похож не на правду, а на анекдот, построенный на игре слов и переведенный дословно на другой язык...

Колыма — край сплошных своеобразий. Полон своеобразия и климат. Не скажешь, когда здесь начинается весна. В один и тот же день может быть и зима, и лето. Распадок весь в глубоких снегах, а днем солнце так припекает, что не только бушлаты и телогрейки — рубашки скидываем. И загораем. Любили мы на снеге работать, скажем, расчищать площадку. Работа чистая, ни пыли, ни грязи; нарезаешь лопатами аккуратно кубики, снег не крошится, и так целыми кубиками его и отбрасываешь.

Снег лежит всюду нетронутый, чистый, ослепительной белизны. Дышит вокруг одна первозданность. Небо голубое, пронзительное, ни облачка, ни дорожек от самолетов. Цепочкой растянуты темные фигурки: обнаженные полузагорелые спины, а снизу — ватные брюки и валенки...

Картина впечатляющей красоты. Но темных очков, разумеется, ни у кого нет — и, глянь, после нескольких дней такой работы снежная слепота набирает себе жертвы.

Или ездили мы корчевать пни за несколько километров западнее Коцугана, где строилась фабрика. Подрубим топором кое-где усища, а в основном ломиками поддеваем под мышки корневищ и разом-разом «эй, взяли!» Не выдерживала земля дружного напора хоть и слабых рук — отдавала тягу корневищ людским мускулам. Вывороченные пни лежали, как поверженные марсиане из «Войны миров»...

Но и мне, как я понимаю теперь, эта война с валунами и пнями даром не прошла. Как-то приключилась со мной странная хворь. Никаких видимых признаков, а кусочка хлеба проглотить не могу — отдается в желудке страшной болью. Иду к врачам, а те только плечами пожимают... Ну да, это не понос проверять, когда посылают с тобой в сортир санитара и он наблюдает, правду ли ты сказал или закосить надумал. Так пять дней я почти ничего не ел. А тут как раз бригадир меня в лес гонял на заготовку дров. Молодому эстонцу, что со мной в пару поставили, — ему что до того, что я еле ноги волочу, ему быстрее надо: пайку большую наколачивать. Не постыдился, собака, набрасываться на меня — власть сильного над слабым показывать.

Вот тут я и спрошу вас — так кто же главный мой враг? Прокурор далекий?.. Или начальник, которого я раз в месяц вижу?.. Или конвоир, который меня до лесу доводит? Или бригадир, который все же прямо надо мной не виснет? Или вот этот длиннорукий высокий эстонец, с кем нас в одну цепь сковали, который в свое право жизнью моей распоряжаться взял.

Пять дней меня не отпускало — должно быть, ущемление случилось. Ведь вся тяжесть лома не на руки — на живот ложится. К счастью, все само собой прошло, и я радовался сэкономленным пайкам. Мог нагужеваться...

Обошлось. Везучий я, выходит, человек.

После злобных камней в зеленом лесу должна быть благодать, но, увы... Кроме напарника, там еще один кровососущий враг — комары да мошкара сгрызают тебя живьем: лезут в нос, в уши, в глаза, а сетка тебе не в облегчение, а лишь в горшую муку — в ней так задыхаешься, что работать невозможно. Так что опять я — раб — благословил судьбу, когда из леса перебросили меня на другую работу...

Сколько же раз я так ее благословлял!

На лагпункте объявился у нас Сашка Сергиенко — двадцатипятилетник, с тяжелыми статьями. Еще молодой, но прошлое у него было запутанное, и за ним какие-то крутые уголовные дела. Трудно сказать, чем руководствовался лагерный отдел кадров, но ясно, что его не смущали ни срок, ни статья, ни реальные преступления. Сергиенко сделали бригадиром, и наш бригадир Илющенко с удовольствием сбагрил меня в его бригаду.

Сашка Сергиенко не собирался руководить бригадой в привычном бригадирском стиле. Он понимал, что сбросили ему не самых послушных, и понимал, что на **забитых** далеко не уедешь. А ему хотелось иметь высокий бригадирский авторитет: только за счет зачетов мог он свой фантастический срок превратить в реальный.

Очень скоро наша 103-я бригада Сергиенко стала самой знаменитой, пожалуй, на всем Бутугычаге. Я за лето немного окреп, общее положение с выработкой выпрямилось, улучшилось питание. Оставался мне год с небольшим, и я уверовался в благополучном исходе.

Бригаду нашу так и называли «бригада-ух!» В работы идем — 103-ю первой к вахте, надзор не очень и наши дровишки трогает. От вахты в развалочку — в барак, не спешим в столовую. Разденемся, умоемся, а в столовой опять-таки: «103-ю вперед!» В лучший барак перевели, снабдили постелями и бельем. Всюду мы первые, всюду нам самое лучшее. И на развод не спешили. Мы и посытее других были, и отдыхали больше, и толку от нас тоже больше. И зачеты полагались нам — три дня за день.

Вот что значит, когда головой руководят, а не горлом!

Обстановка в бригаде была спокойной. Сергиенко не окружал себя любимчиками, никогда не был у него и мишенью для враждебного отношения. Бригада всегда чувствительна к настроению бригадира и охотно обрушивает свою злобу против того, кого ей отдают в жертву. А наша 103-я не могла жаловаться, что кто-то мешает ей заработать большую пайку. Большую пайку имели все.

Но, конечно, законы бригады сказывались и у нас. Мы хоть и были спаяны одной цепью, но это не была спайка друзей. Сочувствия и жалости бригада не знала.

ГЕНРИХ ГОРЧАКОВ. НАЧАЛО 1960-Х ГОДОВ

СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ В КАРАЛАГЕ. ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА С НАТУРЫ ЮЛО СООСТЕРА (1924–1970)

При подъеме на сопку ребята помоложе, покрепче вырываются вперед и где-нибудь на полпути усаживаются передохнуть. А какой-нибудь бедолага пока до них доползет... Они уже вновь срываются. Доберется бедняга — бригада уже работает: не сядешь же отдыхать, когда над тобой висит самое злое лагерное проклятье: «А как же **другие**?..»

Надо сказать, что один из величайших парадоксов Берлага, что он в одной упряжке объединяет людей абсолютно безвинных, не совершивших никаких действий, или, в крайнем случае, незначительные проступки, и самых матерых, на счету у которых не проступки и даже не преступления, а **злодеяния**, в том числе и **душегубство**...

Но к тому, как здесь каждый страдает и мучается, преступления, за которые сюда попали, никакого отношения не имеют. Тут складывается своя судьба — идет другая игра.

Особенно хорошие отношения у меня с поляком Казиком, с цыганом и с литовцем Билайшисом. С ним мы даже побратались.

Кто Билайшиса арестовал? Кто вез его в телячьем вагоне через всю Сибирь? Кто здесь стоит на вышках? Кто водит его под конвоем? Так хоть такие же здесь и в зеках ходят, но для Билайшиса они — по эту сторону зоны и по ту сторону зоны — все как бы одно. Он тем и другим — чужой. Это в Литве в домах — тысячи отсутствуют, а тут в каждом лагере их раз-два и обчелся. А по бригадам рассовали — и вовсе по одному. Так к кому же прислониться Билайшису, как не к такому же, пусть и чужому, но одиночке...

Бригада — это не коллектив близких людей, где каждый думает друг о друге. Бригада — это какое-то тело, существующее само по себе, а мы не части этого тела, а лишь пуговицы, пришитые к одному пиджаку, но каждая по отдельности. И если какая-то сила ухватится за одну пуговицу и начнет выдирать, то остальные и не охнут. Мы хоть и строем на работу, в столовую, ложимся по команде, по команде встаем, но все равно ведь **отдельные**, и на добычу выходим — так не в общий котел, а только для себя. Что мы — сны друг другу рассказываем? Нет, мы даже и не здороваемся. Письмо получишь — что, у тебя спросят: ну чего там пишут?.. Но ведь там — это не в твоей деревне, а в тьмутаракани неведомой, ее хоть всю с земли снесет — другому без разницы. Лишь глянут разве на тебя ревниво: ты письмо получил, а я вот — нет. И все.

А если я говорю:

— Доброе утро, Билайшис! Как ночевал?

Или:

— Письмо получил? Ну, что пишут?

И не просто так — мимо ушей пропустить, а в подсказку совет какой дам, ведь кругозор у меня побольше, да и в завязочках широты страны моей родной я получше разбираюсь...

Вот потому-то я Билайшису и **брат**.

Или цыган. Нет, к нему неплохо ребята относятся, но он все равно весь какой-то сжатый — в настороженном ожидании: вдруг кто-нибудь скажет:

— Ну, ты, мора!

За спиной у каждого — вон сколько... А меня — чего ж опасаться: у меня за спиной, как и у него, — никого.

Ох, не дай Бог быть вырванным из дому, вырванным из среды своего языка, своего климата, своей веры, своих обычаев...

Долог, ох, долог путь арестанта... Срока-то — десять, пятнадцать лет — сами по себе длиннющие, а их еще во крат увеличить нужно...

Тюрьма обычно отнимает у человека самые важные годы, когда он должен в жизни как-то определиться: и профессию получить, и семью наладить, и дом, как говорится, построить... А тут выйдешь, если выйдешь, недоученный или отученный, азы позабывший. За парту садиться — переросток. В женихи пойдешь — перестарок... А если успел семью завести, то налаживали ее уже без тебя — к выросшим детям чужим придешь... а дом то ли развалился, то ли вообще никакого не осталось...

И другое известно: те минуты, что терзает тебя голод, холод, непомерная тяжесть на плечах, всегда такими долгими кажутся. А тут не минуты, не часы, что от еды к еде мы меряем, а целые годы...

Вот и посчитайте, сколько сроков за один срок прожито...

И вот за долгий твой путь главная наука твоя — это наука арестанта. Не овладеешь — тебе хана...

На общих — на казенном, сам по себе — всю дорогу не протянешь. Или выйдешь — чудом — на всех обозленный и весь гнилой, на свалку только пригодный...

Чем спасешься от главных врагов — голода, холода, гнущей тяжести?..

Один путь — если родные могут тебе помочь. Посылки много людей спасали. А вот читаешь иные мемуары — так этой темы, можно сказать, почти и нет. Я понимаю, это не зеков заслуга, да иной раз родные последние крохи от себя отрывают, чтобы вам помочь, чтобы спасти вас. Неужто стесняетесь?.. Или, может, потому стесняетесь, что этими посылками не с товарищами делились, а доброхотство сильных в лагере покупали?..

Другой путь — это с общих уйти в контору, в какие-никакие начальники, на теплые места: в санчасть, на кухню...или уйти в мастера — в нужное людям ремесло, которое тебя прокормит.

Это какие-то злобные завистники придумали называть всех, кто не на общих, придурками, — те подсказчики, которые слово «интеллигент» узаконили как бранное слово.

Придурки — это те, кто кантуется, хоть и на общих; это те, которые не приносят никакой пользы; это те, которые лезут в начальнички всякому делу и по своему неумению его только гробят.

Придурки — это баянист на разводе, художник, малюющий номера, дневальный с палкой, который даже сам полов не моет, Григорьев в КВЧ, от которого никому не было ни холодно, ни жарко, Сеня Мухин, который только стучал, бригадир, не умеющий закрыть наряды, санитар, который носит горшки за докторицей, шестерила-горлопан на пересылке или комендант над мисками в Летяжке, и так далее и тому подобное.

Те же, кто знал свое дело и делал его хорошо, придурками не были. Они могли облегчать жизнь многим и многим и даже спасать.

В основу арестантской науки я положил бы три правила: первое — не бояться начальства, не угождать ему; второе — не копаться в отбросах и третье — не рвать пупок в погоне за большой пайкой.

Сколько я видел таких, молодых и ретивых, только-только с домашних хлебов да за месяц-другой ускоренно проштампованных, — еще не истомленному его телу вручают большую лопату, и «давай, давай, Ваня! Честным трудом зарабатывай себе жизнь и свободу!». А к чему же Ваня был приучен, как не к труду? Вот к голоду он не был приучен. И Ваня дает:

— Ой, робыть, робыть! А то начальство идет!.. Ой, робыть, робыть! А то нормы не будет!..

И как ни объясняешь ему, что у нас и на воле-то давно уж честно норму не выполняют, до него не доходит. До него доходит лишь, когда он сам месяца через три дойдет и пойдет гулять по стационарам... Встречаешь такого через годик, постаревшего, потерявшего все краски, ноги еле волочащего...

— Ну что, браток, много ты «наробыл»?

— Ой, не говори!.. Це твоя правда. А я дураком был.

Пообвыкнув, он начинает вести себя уже по-другому — он работает, но в меру, рукам старается головой помогать: первым делом, где можно, туфту занарядить. И главное, оставить себе столько сил, чтобы и для других дел хватило — на себя поработать. Вот как на руднике №1 у нас. Ну, и за годы он пообтешется, и сам в бригадиры ли выйдет, или помощники, или к делу какому-нибудь помастеровитей приспособится. Ну, а уж коль Бог понятия не даст, то навсегда пополнит армию **фитилей** — от стационара до стационара, и тут уж вытянет — не вытянет... А вытянет, так на свободу полуразрушенным выйдет...

Неверно, что в лагере господствует принцип: умри ты сегодня, а я завтра. Таких шакалов и на воле сколько угодно, и за бригаду они держаться не будут — им что-нибудь повыше подавай: в настоящие придурки пролезут, в любые полицаи не побрезгуют. А коль человеком хочешь остаться, так и в лагере главная заповедь: **считайся с другими**. А не будешь считаться, что ж... иной раз и вознесет тебя судьба высоко, но так же легко тебя и сбросит.

И еще скажу в заключение. Самое большое зло в лагере — не лагерщики с их самовластьем; не псарня лагерная — все эти нарядчики, бугры, старосты; не шпана уголовная — а **бригада**, одной цепью с тобой повязанная. Особенно эти, ретивые, необученные, что общую упряжку понуждают со своей скоростью бежать. Не дай Бог перед ними в слабости оказаться!.. Нет проклятее нависающего над тобой бича: «А как другие?» Эти другие тебя не пожалеют, ничего не простят, по неразумению своему не понимая, что мы сюда ведь не на арендный же подряд нанялись...

И если ты не выделяешься ни силой, ни особым уменьем, ни богатством, то простому работяге противостоять этой тупой бригадной силе трудно до чрезвычайности. Больнее всего на тебя давит парализующее чувство вины.

Да, да, признавая свое несогласие с режимом, что я поднял голос протеста против него, пусть слабенький, услышанный только двумя подонками и следователями, но все же голос протеста, — виноватым я себя никогда не чувствовал ни перед какими слугами режима, не чувствовал виноватым и за свою нерадивость в работе. А вот перед бригадой — чувствовал, перед этими мужиками, которым и дела не было до наших умствований. А я ведь тоже был из этих, мыслителей. Мы мыслили и вот домыслились до того, чтобы живущих трудом воспитывать трудом, главная задача которого свелась к превращению их в голодных доходяг...

Они всю жизнь трудились, чтобы себя и свою семью прокормить. Иного способа жизни и не знали. И вот теперь по наивности считали, что и здесь им остается этот единственный способ себя прокормить — труд.

И видя их неразумие, непонимание и жестокость к тем, кто все же не по своей воле прикован к общей цепи, — я не мог не сознавать, что и они тоже не виноваты, что оказались в этой же цепи. И потому постоянно чувствовал свою вину перед ними, что не мог в равной мере делить с ними тяжесть выпавшего нам общего бревна, и страдал за свое бессилие.

Сознание вины среди русской интеллигенции — чувство исконное и постоянно растравливаемое, оно привело к весьма пагубной идее, что интеллигенция виновата в том, что не трудится вместе с мужиком, что не живет такой же жизнью, как и он. Теперь мы вполне пожинаем плоды: интеллигенция не только перестала заниматься своим прямым делом, но и мужику не дала свободно заниматься своим.

В современную лагерную тему эта идея тоже проникла. Люди, которые сами, между прочим, никогда или почти никогда не горбились на мужицкой работе, поучают нас, что коль ты уж попал в лагерь, то совесть должна тебя заставить бросить и твое плечо под тяжелое бревно, а не искать спасения в нефизическом труде.

Да, скажу я, да, справедливо это! Если к двум плечам я прибавлю свое, пусть и слабое, но третье плечо. Но если ж я своим плечом должен **заменить** плечо более для этой работы пригодное, то мужику от этой замены сладко не придется — никакой подмоги ему не будет, а только вред.

И вот в этом-то я и чувствовал всегда свою вину: принял участие в том, что навязали мужику мое слабое плечо, в том, что мы, мыслители, от такого колхоза его не избавили...

Вот Иван Демуренков — небольшой, щуплый, на вид слабак. Работает он спокойно, размеренно, не дергается, в постоянном ритме, не набрасывается на каждую лопату, как на последнюю. И он долго не устает. И как я ни рвусь, ни суечусь — в конце концов он срабатывает много больше меня. Работа эта для него исконная, привычная, делает он ее умело. И догонять мне его в работе — дело пустое. Сравняться я с ним лишь тогда смогу, когда буду на хороших харчах, а Демуренков на голодухе растратит все последние силы...

Но ведь и я, наверное, на что-нибудь сгож, и у меня, наверное, есть умелое дело, где я и себе пользу принесу, и не одному Демуренкову подмогой буду.

Так разве не прямое дело моей совести — добиваться для себя права заниматься таким делом — в трудовом раю, — а не множить демуренковский голод?..

И вот в этом стыд мой и должен быть, хоть и нет моей прямой вины, что дал я смять себя системе — согласился на один колхоз с Демуренковым. Ведь я потому стал не хуже, что они стали хуже себя.

И все же я сумел противостоять этой тупой силе.

Накопив физические силы и уравняв с ними свой трудовой вклад, работая не хуже их, я освободился от чувства вины перед ними и приобрел особое право корить их за подвластность тупой бригадной силе, за их вечный страх перед начальством, за их бессмысленное усердие, оборачивавшееся жестокостью и несправедливостью к другим.

Я высказал им прямо в глаза, что я о них думаю.

— Посмотрите, — говорил я им, — вы же друг другу как шакалы... Вы ненавидите себя и всех. Вы готовы продать каждого за понюшку. Чуть что, вы бежите наушничать бригадиру...

И они на меня не злились, не возражали. Наоборот, тоскливо соглашались:

— Ты прав...

Я испытывал своего рода гордость, что мог без передышки бить кувалдой, что мог одним махом достичь вершины сопки, что не трепетал перед бригадиром, перед начальником.

Но я не смотрел на них никогда ни с барским высокомерием, ни с презрением, а только с сожалением...

Но не прощал и когда кто-то пытался со мной заигрывать.

Топчемся мы в колонне на разводе. Кто-то благодушно положил мне руку на плечо:

— А ты совсем не похож на еврея! Работаешь на общих, как все, не лезешь, не хитришь половчее устроиться. Ты совсем не еврей!

Но у меня тотчас встает перед глазами «наш жидок», и я сердито сбрасываю руку. Таких похвал мне не нужно. Я — еврей, по рождению, по паспорту, я не хуже никого других и веду себя так, потому что я и есть настоящий еврей.

В армии, помню, тоже слышал такое. Когда во время бомбежки стали выламываться рамы и разлетаться стекла, все так и сыпанули со второго этажа, а я пока не доел кашу, вниз не спустился.

— Ты совсем не похож на еврея, — потом говорили мне. Ты — не трус.

Черт возьми! А может быть, я все-таки похож — на себя?

71 год назад

Находки

Михаил Лаврентьев

Удивительное рядом

Много замечательных документов хранит Государственный архив Российской Федерации.

Читаешь некоторые документы и недоумеваешь — что бы это значило?! Вот, например, постановление Совета народных комиссаров СССР «Об орабочении советского аппарата». Что это за «орабочение»? Может быть «порабощение»? Такое «орабочение» привело к появлению других документов, например, постановления Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) «О проблеме дуба и других твердых пород».

Вот еще постановление: «Принять на счет казны убытки в размере 85 тысяч рублей, произошедшие от утечки сапожной мази». Это надо же, чтобы «утекло» столько сапожной мази! Постановление «О награждении участников конного похода вокруг Кавказского хребта» (умный в гору не пойдет...). И совсем удивительное постановление от 1923 года «О бойкоте Швейцарии» и более разумное от 1927 года «О прекращении экономического бойкота Швейцарии». Интересно только: ощутили ли швейцарцы этот бойкот?

Встречаются и более поздние по времени принятия характерные советские постановления. Например, постановление от 1944 года «О мероприятиях по обеспечению заводов сельскохозяйственного машиностроения Наркомата минометного вооружения лесоматериалами», постановление от 1952 года «О проведении министерствами и ведомствами собственных заготовок сена из урожая 1952 года». Эх, кабы у нас сапоги тачал сапожник, а пироги пек пирожник...

Еще странные источники: постановление «О закупке в Китае ударных музыкальных инструментов «там-там»; постановление «Об израсходовании 18 тыс. рублей на приобретение одежды для членов делегации работников индийской кинематографии». Или постановление «О плане контрактации телок»; постановление «О разрешении созыва в Союзе ССР 4-го Международного конгресса по сексуальным реформам». А говорили, что в Союзе секса нет.

Видимо, чтобы разобраться в сути этих постановлений руководящих советских органов, ЦИК СССР принял еще одно постановление «Об образовании комиссии по изучению сатирического жанра». Вот такое было у нас делопроизводство. И новые находки еще впереди...